

Вместо предисловия

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

...

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

...

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно: принимаю тебя!

А. Блок

Вспомнив эти строки Александра Блока, я подумал: стоит ли писать предисловие? Ведь ярче, точнее и шире не скажешь!

Однако все же решил вас предупредить:

В книгах цикла «Весна страстей наших» вам предлагаются четыре романа. Но они — словно один роман. И роман в известном смысле без конца. И в высшем смысле — бесконечный! И в центре его один и тот же человек, который, с одной стороны, всем до боли знаком, а с другой — почти ничего о нем достоверного не известно. Понтий Пилат ему имя.

А вокруг этого мирового имени — другие всемирно известные имена и фигуры, Пилатовы современники: философ и драматург Сенека, прославленный римский поэт Овидий и другие замечательные римские стихотворцы: Вергилий, Гораций, Тибулл, Проперций. И Август — один из величайших земных правителей. И мрачные его последователи: император Тиберий, а также Луций Элий Сеян, своего рода родоначальник европейского политического сыска и ненасытных репрессий.

Со всеми ними вы сможете поближе познакомиться, если заглянете в это мое сочинение.

Вместо предисловия

А также окунетесь в жизнь Древнего Рима, Рима Великого, Первого и Последнего.

Эдуард Успенский, прочтя один из этих романов, заметил: «Мне кажется, что вы там жили».

Я, дорогие мои читатели, до сих пор Там живу: в Вечной Весне и в бесконечных страстях наших, которые каждую весну вспыхивают и жизнь нашу питают.

Мы все там живем, те, кому дано жить разнолико и разнообразно. Те, кто не утратили свое детство, Весну Жизни.

Всегда Ваш,
Юрий Вяземский

ДЕТСТВО ПОНТИЯ ПИЛАТА

Роман-автобиография

*Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство.
Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных —
лишь согласное гуденье насекомых.*

Иосиф Бродский



Duae Luciae

Глава 1 Третий лишний

I. Я плохо спал этой весенней ночью. Я часто просыпался и два раза, помню, вставал с ложа, чтобы попить воды, хотя обычно никогда не испытываю жажды по ночам. Поэтому когда я встал в третий раз, я и не думал, что сплю: я лишь удивился, когда, откинув полог, оказался не в спальном помещении, а в тесном и полутемном атриуме, возле имплувия, напротив очага. Точнее, между мной и очагом был имплувий с дождевой водой, и я был по одну сторону, а очаг — по другую.

Было, повторяю, довольно темно. Но, всматриваясь в окружающую обстановку, я довольно быстро понял, что нахожусь в том самом доме, в котором я родился, на севере Испании, в Леоне. И вот слева от меня дверь, которая вела в комнату моего отца (единственное помещение с дверью), а напротив, за бассейном с водой, — очаг и ниша в стене, в которой висели восковые маски моих предков.

Но когда затем я посмотрел направо, то увидел колонну возле имплувия и удивился, потому что колонн в нашем леонском доме не было.

И тут вдруг больше стало света, и я увидел, что прежний очаг исчез, а вместо него явилось полукруглое сооружение, похожее на алтарь, со впадиной для разведения огня наверху и с отверстием внизу, через которое вытекают возлияния, а также кровь приносимых жертв. И ниша с восковыми масками исчезла, а вместо нее стоит дубовый резной шкаф, в котором эти маски хранились у нас в Кордубе. «Ну точно, — подумал я, — в Кордубе у нас и колонны были, и домашний алтарь был соору-



жен, и предков переселили в шкаф, а под каждой восковой маской была сделана торжественная надпись. Значит, я уже не в Леоне, а в Кордубе».

И только я так подумал, как раздвинулись стены и потолок, и каменный имплувий превратился в широкий мраморный бассейн с фонтаном. По другую сторону бассейна передо мной предстало уже целое святилище, с бронзовыми статуями и фресками на стене, с алтарем из благородного розового гранита — точь-в-точь как я велел соорудить на моей приморской вилле. «Но шкафа с масками тут быть не должно, — подумал я. — Шкаф стоит у меня в кабинете. Кто, вопреки моим указаниям, перенес его в святилище и поставил среди статуй и фресок?»

И стоило мне так подумать, как дверцы шкафа растворились, и я увидел маски, которые теперь будто светились изнутри.

Словно чьи-то невидимые руки сняли эти маски с крючков, на которых они висели в шкафу, и понесли к бассейну.

Вернее, не так. Как только маски начали свое движение в мою сторону, дверцы шкафа превратились в широкие ворота (к сожалению, не помню: роговыми они были или из слоновой кости). И по мере того, как маски приближались, я видел, как за ними словно сгущалась темнота и маски как бы обретали тела, превращаясь в восковые фигуры.

А когда они приблизились к краю бассейна, мрамор его будто растворился в воде; бассейн удлинился, расширился и стал рекой, в которой потекла черная вода — вернее, черно-розовая.

У берега оказалась лодка, а в ней старик-перевозчик. Он легко подхватывал статуи и без всякого усилия переносил их в лодку. И едва лодка отчалила от берега и поплыла в мою сторону, я стал всматриваться в перевозчика, потому что мне вдруг показалось, что это — не мужчина, а женщина, и что эта старуха удивительно похожа на ту старую колдунью, с которой я когда-то встретился в Гельвеции... (Я никогда тебе о ней не рассказывал, хотя вспоминал о ней чуть ли не в каждое полнолуние...)

И вот лодка причаливает к моему берегу, и статуи сами начинают выходить из нее.

Вернее, они теперь уже не статуи, а как во время похоронной процессии, когда живые люди надевают на себя маски, сделанные из раскрашенного воска и представляющие собой портреты ларов и манов — предков усопшего.

Такими они выходили из лодки и ступали на берег. Но уже через несколько шагов маски их будто вращались в лица, искусственные цвета становились естественными... Не знаю, как это описать, но когда они подступили ко мне и выстроились полукругом, это были уже словно живые люди, не в масках, а с обычными лицами.



И слева, на большем отдалении, чем остальные, стоял, как я догадываюсь, мой прапрадед, Луций Понтий Гиртулей, потому что на нем был самнитский плащ и какие-то странные сандалии, которых я никогда не видел ни на римлянах, ни на испанцах.

А справа от него — чуть ближе ко мне — стоял мой прадед; тут уже и догадываться не надо было, потому что ноги у него были несколько искривлены от постоянного сидения на лошади и в правой руке он держал золотой дротик, пожалованный ему божественным Юлием, — Квинт Понтий Гиртулей, самим Цезарем прозванный Пилатом.

А еще дальше вправо и еще ближе ко мне, во всаднической тоге, которую он почти никогда не снимал с себя, стоял мой дед, Публий Понтий Пилат, обласканный божественным Августом и им возведенный в сословие всадников.

А с правого края, совсем близко ко мне, был мой отец, на которого я боялся смотреть, потому что лицо у него было залито кровью, вместо левой руки из плеча торчал кровавый обрубок.

И тут мой прапрадед, Луций Гиртулей, как мне показалось, укоризненно на меня глядя, ласково произнес: «Вспомни».

И следом за ним прадед, Квинт Понтий Пилат, тряхнув своим золотым дротиком, призывно воскликнул: «Будь достоин!»

И дед мой сурово прибавил: «Служи вечному!»

Отец же призывно протягивал ко мне оставшуюся руку, губы его, испачканные в крови и песке, беззвучно шевелились, глаза с болью и надеждой, со страхом и нежностью смотрели на меня. Видно было, что он пытается что-то сказать мне — но я не слышу, пытается предостеречь меня — но я не понимаю, хочет остановить, удержать, уберечь — но у него не получается...

Тут я проснулся у себя на ложе. Но, веришь ли, далеко не сразу понял, что предки мне явились во сне. Так явственно и призывно звучали у меня в ушах их напутствия.

II. И вот, словно повинуюсь требованию-просьбе моего прапрадеда, я, лежа в постели, принялся вспоминать, как говорится, «от яиц до яблок». Начал с древних времен: с Самнитской войны и Кавдинского ущелья, в котором отличился Гай Понтий, сын Геренния. Затем перешел на разделение рода на четыре различных клана: Телесинов, Гиртулеев, Венусилов и Неполов. Потом мысли мои перелетели на Марсийское восстание, на знаменитую битву при Коллинских воротах, в которой прославился Авл Телесин. После вместе с Квинтом Серторием и моим прапрадедом я мысленно отправился в Испанию, вспоминая о доблестных деяниях Луция Понтия



Гиртулея, о его гибели, о чудесном спасении его младшего сына, Квинта Гиртулея, моего прадеда.

Я долго вспоминал историю моего рода. А потом вспомнил, как я ее тебе поведал — в Риме, на Эсквилине, в садах Мецената. Помнишь? Это был тот редкий случай, когда ты молча и с интересом слушал мое повествование. Если забыл, так я тебе напомню, если представится случай, и ты заинтересуешься (см. Приложение 1).

Но не сейчас. Потому что, задумавшись о превратностях Фортуны, я в воспоминаниях своих перемахнул вдруг с убийства Сертория на свое собственное рождение.

III. Я однажды признался тебе, но ты не поверил. Я сказал тогда, что помню себя с младенчества, буквально с первого дня своего появления на свет.

Теперь скажу более: мне кажется, что я себя и до своего рождения помню. Тело мое обвивала змея, и эта змея постепенно ужесточала свои объятия, с живота передвигалась на грудь, с груди на шею и на горло; дышать мне становилось все труднее и труднее, и если бы мне не удалось просунуть руки между горлом моим и телом змеи, я бы, наверное, задохнулся. Обороняясь руками, я попытался в темноте нащупать голову змеи, чтобы, сжав ее, как она меня сжимала, освободиться. И тогда змея предельно ужалила меня в правую руку. Я рванулся вперед, и тут мне словно огнем опалило глаза, а горло будто залило расплавленным металлом...

(Когда я подрос, я стал расспрашивать домочадцев, и Лусена подтвердила, что, появившись на свет, я был весь обмотан пуповиной и действительно защищался от удушья ручонками, а правая ладонь у меня была повреждена, что очень удивило акушерку.)

И вот, когда мои глаза вполне привыкли к свету этого мира, когда запоздалым криком мне удалось вытолкнуть из горла липкую горячую смесь, и я начал дышать, я увидел, что надо мной склонилось много людей.

И прежде всего запомнил лицо мужчины. Лицо это было растерянным и каким-то, я бы сказал, брезгливым. От мужчины пахло чесноком и потом. (Я, разумеется, не знал тогда, что означают эти запахи, но запомнил их на всю жизнь, и когда от кого-то пахло потом и чесноком, память моя всегда возвращалась к облику отца, склонившегося надо мной в первые минуты моей жизни.)

Второе лицо, на которое я обратил внимание, принадлежало молодой женщине. Женщина эта лучисто улыбалась и одновременно горько плакала. Лицо у нее было радостным и в то же время каким-то униженно вино-

ватым. Волосы ее были собраны на затылке, намотаны на палочку, и с этой палочки падали на плечи складки черной вуали. Я помню, женщина потянулась ко мне. Но другая женщина, очень широкая и высокая, чуть ли не ударила ее по рукам, выхватила меня (не помню, где я лежал: может быть, на столе, а может быть — уже в кроватке), подняла, как мне показалось, высоко вверх, к самому потолку, а потом опустила к себе на грудь; вернее, словно окунула меня в свою грудь, погрузила в широкое ущелье между жаркими и мягкими холмами, пахнущими молоком и жизнью.

Первую женщину звали Лусеной, и на тот момент она была рабыней моего отца. А та, что сердито отняла меня и утопила в своей груди, — эту женщину наняли как мою первую кормилицу. Но кормила она меня недолго: дня три или четыре, пока не подыскали другую кормилицу; неприязненного отношения к Лусене, а тем более грубого с ней обращения, отец никогда и никому не прощал.

То есть я хочу сказать, что эту первую свою кормилицу я мог увидеть и запомнить лишь в первые дни своей жизни. Потому что выгнали ее со скандалом и старались о ней не вспоминать. Так что, когда я подрос и стал расспрашивать домочадцев о кормилице с большой грудью, все весьма удивились: «Кто тебе мог рассказать? Действительно, первые дни кормила тебя одна крестьянка, у которой даже прозвище было „Грудь“... Никто, разумеется, не поверил, что я мог ее запомнить, и на всякий случай наказали одну из рабынь, которая считалась самой болтливой в хозяйстве.

Даже Лусена не поверила в то, что я помню самый день своего рождения, хотя ей были известны мои способности.

Не знаю, заметил ты это или не заметил, но с раннего детства мне были присущи два несомненных качества, два, если угодно, врожденных дара: наблюдательность и великолепная память. Другими способностями, которыми Фортуна с такой щедростью наделила тебя, Луций, — я ими даже в малой степени не обладал. Может статься, они изначально и мне были предписаны, но тяжкие роды моей несчастной матери свели их на нет или придушили до поры до времени.

IV. Не уверен, что тебе известна история моих родителей. Но даже если наводил справки и известна, вспомню и сообщу тебе, Луций, что отец мой, Марк Понтий Пилат Гиртулей, женился на моей матери Вибии не по собственной воле и не по своему выбору. Жену для него выбрал и велел жениться его отец и мой дед, Публий Понтий Пилат. В клане Гиртулеев вообще — и в ветви Пилатов, в частности — всегда придавали большое значение семейным отношениям и родственным связям. Так что когда мой дед решил, что настало время женить своего третьего сына — моего



будущего отца, он вызвал его к себе в Цезаравгусту и объявил, что долго и тщательно разыскивал и, наконец, подыскал для него жену в колене Нарбонских Гиртулеев.

Ты помнишь? Я рассказывал тебе, что два старших сына Луция Гиртулея, Тит и Гай, еще до смерти Сертория были отправлены эмиссарями в Галлию (см. Приложение I.XXXVI) и там с течением времени основали две ветви Галльских Гиртулеев — Нарбонское и Лугдунское. У Гая Гиртулея, который поселился в Нарбоне, был сын Маний, у того был сын Вибий. Так вот, у этого Вибия, который жил уже не в Нарбоне, а в Массалии, старшей дочерью была Вибия Сервия — молодая и, как говорят, весьма привлекательная девушка. Эту Вибию из Массалии Публий Понтий и предложил в жены своему сыну. А мой будущий отец, как мне потом рассказывали, сперва безразлично пожал плечами, потом покорно склонил голову и ответил: «Ну что же, жениться — так жениться. Тем более, ты говоришь, долго и тщательно разыскивал».

Брак между Марком Пилатом и Вибией Сервией был заключен в консульство Гая Цензурина и Гая Азиния. (Но поскольку я помню, что тебя всегда раздражало это «консульское» летосчисление, то специально для тебя уточняю: в семьсот сорок шестой год от основания Рима, когда боже-ственный Август провел перепись, учредил третью чистку сената, и когда пошел первый год германской войны Тиберия.) Свадьба была торжественной — настолько торжественной и пышной, насколько можно было организовать у нас в Испании. Разумеется, она состоялась не в Леоне, где уже тогда служил и командовал конной турмой мой будущий отец, а в Цезаравгусте, где дед мой в то время был одним из руководителей города. Из Тарракона прибыл жрец богини Ромы. Со всех концов Испании, из обеих Галлий и даже из Африки съехались многочисленные представители клана Гиртулеев. Из Гадеса прибыл старший брат Публия, Квинт Понтий Пилат Младший, который в ту пору почитался главным в колене Пилатов. Из Тарракона приехал Децим Пилат Гиртулей — главный Пилат в Ближней Провинции. Разумеется, бракосочетание было совершено по обряду конфарреации, то есть самому благочестивому и торжественному обряду: с присутствием главного жреца Провинции, фламينا Юпитера, и десяти официальных свидетелей. Естественно, в жертву Юпитеру был принесен хлеб из полбы, и все прочие многочисленные и утомительные обряды, как говорят, были тщательно соблюдены. Вплоть до того, что, несмотря на большое число приглашенных и их занятость, день свадьбы дважды переносился, потому что в первый день ауспиции были благоприятными, а гаруспиции — неблагоприятными, во второй день вышло наоборот, и лишь на третий день Фортуна и боги смилостивились над Пилатами и Гиртуле-

ями и послали благоприятные знамения в обоих видах дивинации. И гости, представь себе, терпеливо ждали. Потому что мой дед, хотя не занимался финансами и торговлей и не был так состоятелен, как его старшие братья, Квинт Младший и Децим Пилат, хотя у себя в Цезаравгусте он не пользовался таким авторитетом, каким пользовался в Тарраконе его младший брат Гней, магистрат города и военный советник проконсула Ближней Испании, однако все сородичи уважали Публия Пилата за добродетель и безукоризненную репутацию.

Итак, свадьба была торжественной. Но когда Марк Пилат привез свою молодую жену в Леон и они стали жить супружеской жизнью, детей у них не было: ни через год, ни через два. И лишь на четвертый год, в консульство Гая Кальвизия и Луция Пазиена, в третий год второго трибуната Тиберия Нерона, поздней весной под созвездием Близнецов появился на свет хилый и полузадушенный младенец — твой, если не друг, то, надеюсь, приятель и спутник детства. (И стоит ли напоминать тебе, в каком году от основания Рима это произошло? Ибо в том же году, лишь на несколько месяцев раньше, родился и ты, Луций.)

Однако за год до моего появления на свет в жизни моего отца произошло событие, которое наложило яркий отпечаток на его дальнейшую судьбу, и в моей жизни, безусловно, благотельно отразилось.

V. Рассказывают, что когда Вибия наконец забеременела и сообщила об этом мужу, Марк, по природе своей человек сдержанный, очень обрадовался. И на следующий день отправился в Августу, объявив перед отъездом, что намерен сделать своей жене нужный и дорогой подарок. В Августе Марк дождался базарного дня и отправился на невольничий рынок. Там он купил женщину, которую звали Лусена. Отец ее в детстве был свободным человеком, родился в Бетике в семье тартесса, который в составе вспомогательного отряда воевал против Цезаря на стороне помпеянцев, а когда помпеянцы были разгромлены, попал в плен и вместе с семьей был продан в рабство в Галлекию. Так что Лусена родилась уже в рабстве.

О том, как Марк приобрел Лусену, я слышал несколько рассказов. Одни говорили, что Лусена была выставлена в первых рядах, что стартовая цена за нее была назначена весьма высокая, но женщина с первого взгляда пришлась Марку по душе, он ввязался в аукцион и повышал цену до тех пор, пока не остался один среди торговавшихся. Другие утверждали, что Лусена была выставлена во втором и даже в третьем ряду, что цена за нее была объявлена невысокая, но когда торговец заметил, что Марк, как говорится, «прилепился к ней взглядом», то стал юлить и лукавить и сперва заявил, что женщина эта вообще не продается, а выставлена якобы по



Я понял, что Лусена улучила момент и добилась того, о чем, судя по всему, давно думала и мечтала.

Спасибо моей матери-мачехе и — как бы ты к ней теперь ни относился — слава Великой Фортуне!

Потому что в новой школе я встретил своего первого Учителя — тебя, Луций Анней Сенека.

Глава 3

Беседы с Сенекой

I. Ты помнишь, как мы встретились?

Я несколько раз спрашивал тебя об этом. Но ты всегда уводил разговор в сторону. И лишь во время последней нашей встречи, в Египте, когда я снова попытался задать тебе тот же вопрос, ты глянул на меня с грустью и укоризной и сказал: «Пилат, это так давно случилось. Мы тогда были совершенно другими людьми. Так стоит ли предаваться воспоминаниям об ушедшем и изменившемся?»

Стоит, Луций. Потому что там, в нашем испанском детстве, многие (если не все) семена были посеяны, из которых потом произросли наши стремления, наши характеры, наши судьбы — *частные логосы нашей жизни*, как выражаются любимые тобой стоики. Не знаю, как ты, но я в последнее время все чаще в это далекое свое прошлое заглядываю, и не для того, чтобы вспомнить и умилиться, а дабы попытаться уяснить себе, откуда я проистек, вернее, кто и как меня там «задумал» и стал «произносить» на разных стадиях и поворотах жизни. И что я потерял, а что приобрел. И насколько я, теперешний, соответствую этим замыслам и своей первоначальной природе. И что мне теперь нужно делать, чтобы не сбиться с пути, следовать своему логосу и не перечить Фортуне...

Да, Луций, мы сильно переменились. Ты — в особенности. Но перед лицом Судьбы разве не те же мы, какими были когда-то? Разве что напялили на себя слишком много одежд, как древние актеры, лица свои прикрыли масками, и постоянно меняем их, в расчете на то, что люди обманутся и нас не узнают. Но если разоблачить нас, снять с нас политические одежды, отобрать у нас философские личины, то в голем естестве своем...

Прости, я, кажется, зафилософствовался. А я, в отличие от тебя, никогда этого не любил и не умел.

Но памятью, как ты понял, я не страдал и не страдаю. И с легкостью могу припомнить, как мы с тобой встретились.

II. Новая школа, в которую меня перевели, во всех отношениях отличалась от той, в которую я ходил до этого.

В каждом классе был свой собственный учитель, и у каждой группы было отдельное помещение.

Зала, в которой занимались одиннадцатилетки, была похожа на дворец. Помнишь? Два ряда колонн. На свежесведеленных стенах — две большие таблицы: одна — из мрамора, на которой были изображены важнейшие сцены из римской мифологии, а другая — из гипса, с картинками из «Илиады» Гомера. Карта Испании, нарисованная на боковой стене. Широкие и светлые оконные проемы, выходящие на галерею; они были задернуты плотными занавесями, но когда в школу являлись знатные посетители, занавеси раздергивались, и зрители могли следить за уроком из мраморного портика.

Учитель восседал на помосте на настоящей *кафедре* — массивном стуле с высокой закругленной спинкой. Справа и слева от него (но не на помосте, а на полу) на стульях без спинок размещались двое его помощников — «первые ученики». Ноги их опирались на маленькие скамеечки. Остальные ученики сидели на скамьях, в несколько рядов расположенных вокруг учительского помоста. Учитель говорил всегда сидя и лишь изредка вставал с кафедры, когда его охватывало вдохновение. Ученики же, отвечая урок или читая свою работу, всегда поднимались со скамеек. Хотя учитель рекомендовал писать стилем и на табличках, многие писали каламусом на пергаменте и даже на папирусе, который, как ты помнишь, тогда дорого стоил, особенно у нас, в Испании.

В старой моей школе ученики отличались друг от друга лишь по своей успеваемости. А тут меня сразу ознакомили, так сказать, с цензовым различием. Едва я достал из своего холщового мешочка таблички, как меня окружили двое мальчишек, и один из них принялся выдвигать предположения, а другой либо принимал их, либо отвергал. «Он, наверное, сын мельника», — глядя на мой мешок, объявил первый. А второй задумчиво возразил: «Нет, у мельника никогда не хватит денег на нашу школу». «Значит, он сын какого-нибудь захудалого писца, — предположил первый мальчишка. — Видишь, он притащил с собой восковые таблички. Писец наскребет деньги?» «Захудалый тоже не наскребет», — возразил его собеседник. «Тогда кто же он?» — «Пес его знает. По виду, вроде бы, римлянин. Но какая-то деревенщина»... И эдак они меня довольно долго продолжали обсуждать. А когда я, дабы развеять их сомнения, сообщил им, что мой отец военный и из всадников, они словно не расслышали моего объяснения, и первый мальчишка сказал: «Похоже, его отец как-то связан



с торговлей рыбой. Понюхай, он и сам рыбой пахнет». А второй мальчишка на него будто обиделся: «Сам нюхай, если тебе нечего делать».

III. Стараясь быть незаметным, я дождался, когда все ученики рассядутся, и сел на маленькую, не занятую никем скамеечку, которая стояла далеко от учительского помоста, особняком, возле стены, перед рисованной картой. И сразу ощутил на себе настороженное внимание всего класса. А скоро ко мне подошел один из «первых учеников» (тот, который сидел от учителя по правую руку) и сердитым шепотом произнес: «Не туда сел. Пересядь! Быстро!»

Я тут же подчинился и пересел в задний ряд на скамьи. И целый день на эту загадочную одинокую скамеечку поглядывал. Но никто так и не сел на нее. И больше ничего примечательного со мной в этот день не случилось.

На следующий день, прибыв в школу, я сначала выслушал замечания моих вчерашних критиков. Они сперва удивлялись тому, что всех в школу приводят слуги-мужчины или специальные школьные рабы, а этого новенького привела какая-то «мамина туалетница» или «папина подстилка» (так они выразились). Затем принялись обсуждать ту писчую бумагу, которую я накануне упросил приобрести мне для школы, и один утверждал, что в этой бумаге, на которой я собрался писать, еще вчера была в лавке завернута соль, а другой возражал, что — рыба и рыба протухшая. Молча и невозмутимо выслушав эти замечания, я первым вошел в классную комнату и стал изучать загадочную скамеечку-табуретку. На ее сиденье я теперь обнаружил полустертую надпись «Луций» и решил, что опять попробую на ней примоститься.

Но перед началом урока ко мне подошли теперь уже два первых ученика, правый и левый. И правый удивленно спросил: «Я, что, вчера тебе непонятно объяснил?» А левый ничего не сказал, но, повернувшись ко мне спиной, так сильно толкнул меня задом, что я чуть не упал с табуретки. «А почему здесь нельзя сидеть? — вежливо полюбопытствовал я. — Сюда никто не садится. И тут написано мое имя». В ответ на мое замечание оба первых ученика вздохнули и устало покачали головами. И левый сказал: «Дурак! Это не твое имя. Здесь другой Луций сидит!» А правый посоветовал: «Пересядь побыстрее. Пока не поздно».

Разумеется, я снова пересел, ибо не хотел, чтобы на глазах у всего класса меня силой сбрасывали на пол.

И снова ни в первой, ни во второй половине дня никто не сел на таинственную маленькую скамейку.

Оглавление

Детство Понтия Пилата

I. Duae Luciae	7
Глава 1. Третий лишний	7
Глава 2. Солнышко померкло	36
Глава 3. Беседы с Сенекой	52
II. Pater meus	82
Глава 4. Отца завоевал	82
Глава 5. От Тарракона до Ализона	112
Глава 6. В лагере под Ализоном	128
Глава 7. Катастрофа	151
III. Piscator	197
Глава 8. Отверженные	197
Глава 9. Рыбак	221
Глава 10. Охота за силой	263
Глава 11. Пила	291

Лестница Венеры

I. Фатум	321
Мема 1. Познакомились	321
Мема 2. Первенец Венеры	339
Мема 3. О Пелигне	343

Оглавление

II. Фанет и Приап	345
Мема 4. Фанет	345
Мема 5. Фламин Пелигна	370
Мема 6. Приап	374
Мема 7. Хозяин	405
III. Протей	420
Мема 8. От Валерии до Сабины	420
Мема 9. От Анхарии до Цезонии	447
Мема 10. Мелания и Альбина	464
Мема 11. Учитель	487
IV. Фаэтон	493
Мема 12. История Юлии	493
Мема 13. Колесница	514
Мема 14. Взлетел	566
Мема 15. Святилище Любви	596
Мема 16. Фаэтон. Благожелательная любовь	600
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1. История нашего рода	629
Приложение 2. Мой прадед и Гай Юлий Цезарь	650
Приложение 3. Странствия Венеры	661
Приложение 4. Публий Овидий Назон «Любовные элегии» (Amores). Книга вторая. VI	679
Приложение 5. Публий Овидий Назон «Любовные элегии» (Amores). Книга первая. V	681
Приложение 6. Публий Овидий Назон «Любовные элегии» (Amores). Книга третья. VII	682